

Именины

После именинного обеда, с его восемью блюдами и бесконечными разговорами, жена именинника Ольга Михайловна пошла в сад. Обязанность непрерывно улыбаться и говорить, звон посуды, бестолковость прислуги, длинные обеденные антракты и корсет, который она надела, чтобы скрыть от гостей свою беременность, утомили ее до изнеможения. Ей хотелось уйти подальше от дома, посидеть в тени и отдохнуть на мыслях о ребенке, который должен был родиться у нее месяца через два. Она привыкла к тому, что эти мысли приходили к ней, когда она с большой аллеи сворачивала влево на узкую тропинку; тут в густой тени слив и вишен сухие ветки царапали ей плечи и шею, паутина садилась на лицо, а в мыслях вырастал образ маленького человечка неопределенного пола, с неясными чертами, и начинало казаться, что не паутина ласково щекочет лицо и шею, а этот человечек; когда же в конце тропинки показывался жидкий плетень, а за ним пузатые ульи с черепянными крышками, когда в неподвижном, застоявшемся воздухе начинало пахнуть и сеном и медом и слышалось кроткое жужжанье пчел, маленький человечек совсем овладевал Ольгой Михайловной. Она садилась на скамеечке около шалаша, сплетенного из лозы, и принималась думать.

И на этот раз она дошла до скамеечки, села и стала думать; но в ее воображении вместо маленького человечка вставали большие люди, от которых она только что ушла. Ее сильно беспокоило, что она, хозяйка, оставила гостей; и вспоминала она, как за обедом ее муж Петр Дмитрич и ее дядя Николай Николаич спорили о суде присяжных, о печати и о женском образовании; муж по обыкновению спорил для того, чтобы щегольнуть перед гостями своим консерватизмом, а главное чтобы не соглашаться с дядей, которого он не любил; дядя же противоречил ему и придирался к каждому его слову для того, чтобы показать обедающим, что он, дядя, несмотря на свои 59 лет, сохранил еще в себе юношескую свежесть духа и свободу мысли. И сама Ольга Михайловна под конец обеда не выдержала и стала неумело защищать женские курсы не потому, что эти курсы нуждались в защите, а просто потому, что ей хотелось досадить мужу, который, по ее мнению, был несправедлив. Гости утомил этот спор, но все они нашли нужным вмешаться и говорили много, хотя всем им не было никакого дела ни до суда присяжных, ни до женского образования...

Ольга Михайловна сидела по сю сторону плетня, около шалаша. Солнце пряталось за облаками, деревья и воздух хмурились, как перед дождем, но,

несмотря на это, было жарко и душно. Сено, скошенное под деревьями накануне Петрова дня, лежало неубранное, печальное, пестрея своими поблекшими цветами и испуская тяжелый приторный запах. Было тихо. За плетнем монотонно жужжали пчелы...

Неожиданно послышались шаги и голоса. Кто-то шел по тропинке к пасеке. Душно! сказал женский голос. Как, по-вашему, будет дождь или нет?

Будет, моя прелесть, но не раньше ночи, ответил томно очень знакомый мужской голос. Хороший дождь будет.

Ольга Михайловна рассудила, что если она поспешит спрятаться в шалаш, то ее не заметят и пройдут мимо, и ей не нужно будет говорить и напряженно улыбаться. Она подобрала платье, нагнулась и вошла в шалаш. Тотчас же лицо, шею и руки ее обдало горячим и душным, как пар, воздухом. Если бы не духота и не спертый запах ржаного хлеба, укропа и лозы, от которого захватывало дыхание, то тут, под соломенной крышей и в сумерках, отлично можно было бы прятаться от гостей и думать о маленьком человечке. Уютно и тихо.

Какое здесь хорошенькое местечко! сказал женский голос. Посидимте здесь, Петр Дмитрич.

Ольга Михайловна стала глядеть в щель между двумя хворостинами. Она увидела своего мужа Петра Дмитрича и гостью Любочку Шеллер, семнадцатилетнюю девочку, недавно кончившую в институте. Петр Дмитрич, со шляпой на затылке, томный и ленивый оттого, что много пил за обедом, вразвалку ходил около плетня и ногой сгребал в кучу сено; Любочка, розовая от жары и, как всегда, хорошенькая, стояла, заложив руки назад, и следила за ленивыми движениями его большого красивого тела.

Ольга Михайловна знала, что ее муж нравится женщинам, и не любила видеть его с ними. Ничего особенного не было в том, что Петр Дмитрич лениво сгребал сено, чтобы посидеть на нем с Любочкой и поболтать о пустяках; ничего не было особенного и в том, что хорошенькая Любочка кротко глядела на него, но всё же Ольга Михайловна почувствовала досаду на мужа, страх и удовольствие оттого, что ей можно сейчас подслушать.

Садитесь, очаровательница, сказал Петр Дмитрич, опускаясь на сено и потягиваясь. Вот так. Ну, расскажите мне что-нибудь.

Вот еще! Я стану рассказывать, а вы уснете.

Я усну? Аллах керим! Могу ли я уснуть, когда на меня глядят такие глазки?

В словах мужа и в том, что он в присутствии госты сидел развалясь и со шляпой на затылке, не было тоже ничего особенного. Он был избалован женщинами, знал, что нравится им, и в обращении с ними усвоил себе особый тон, который, как все говорили, был ему к лицу. С Любочкой он держал себя так же, как со всеми женщинами. Но Ольга Михайловна все-таки ревновала.

Скажите, пожалуйста, начала Любочка после некоторого молчания, правду ли говорят, что вы попали под суд?

Я? Да, попал... К злодеям сопричтен, моя прелесть.

Но за что?

Ни за что, а так... всё больше из-за политики, зевнул Петр Дмитрич. Борьба левой и правой. Я, обскурант и рутинер, осмелился употребить в официальной бумаге выражения, оскорбительные для таких непогрешимых Гладстонов, как наш участковый мировой судья Кузьма Григорьевич Востряков и Владимир Павлович Владимиров.

Петр Дмитрич еще раз зевнул и продолжал:

А у нас такой порядок, что вы можете неодобрительно отзываться о солнце, о луне, о чем угодно, но храни вас бог трогать либералов! Боже вас сохрани! Либерал это тот самый поганый сухой гриб, который, если вы нечаянно дотронетесь до него пальцем, обдаст вас облаком пыли.

Что у вас произошло?

Ничего особенного. Весь сыр-бор загорелся из-за чистейшего пустяка. Какой-то учитель, плюгавенькая личность колокольного происхождения, подает Вострякову прошение на трактирщика, обвиняя его в оскорблении словами и действием в публичном месте. Из всего видно, что и учитель и трактирщик оба были пьяны, как сапожники, и оба вели себя одинаково скверно. Если и было оскорбление, то во всяком случае взаимное. Вострякову следовало бы оштрафовать обоих за нарушение тишины и прогнать их из камеры вот и всё. Но у нас как? У нас на первом плане стоит всегда не лицо, не факт, а фирма и ярлык. Учитель, какой бы он негодяй ни был, всегда прав, потому что он учитель; трактирщик же всегда виноват, потому что он трактирщик и кулак. Востряков приговорил трактирщика к аресту, тот перенес дело в съезд. Съезд торжественно утвердил приговор Вострякова. Ну, я остался при особом мнении... Немножко погорячился... Вот и всё.

Петр Дмитрич говорил покойно, с небрежной иронией. На самом же деле предстоящий суд сильно беспокоил его. Ольга Михайловна помнила, как он, вернувшись с злополучного съезда, всеми силами старался скрыть от домашних, что ему тяжело и что он недоволен собой. Как умный человек, он не мог не чувствовать, что в своем особом мнении он зашел слишком далеко, и сколько лжи понадобилось ему, чтобы скрывать от себя и от людей это чувство! Сколько было ненужных разговоров, сколько брюзжания и неискреннего смеха над тем, что не смешно! Узнав же, что его привлекают к суду, он вдруг утомился и пал духом, стал плохо спать, чаще, чем обыкновенно, стоял у окна и барабанил пальцами по стеклам. И он стыдился сознаться перед женою, что ему тяжело, а ей было досадно...

Говорят, вы были в Полтавской губернии? спросила Любочка.

Да, был, ответил Петр Дмитрич. Третьего дня вернулся оттуда.

Небось, хорошо там?

Хорошо. Даже очень хорошо. Я, надо вам сказать, попал туда как раз на сенокос, а на Украине сенокос самое поэтическое время. Тут у нас большой дом, большой сад, много людей и суеты, так что вы не видите, как косят; тут всё проходит незаметно. Там же у меня на хуторе пятнадцать десятин луга как на ладони: у какого окна ни станьте, отовсюду увидите косарей. На лугу косят, в саду косят, гостей нет, суеты тоже, так что вы поневоле видите, слышите и чувствуете один только сенокос. На дворе и в комнатах пахнет сеном, от зари до зари звенят косы. Вообще Хохландия милая страна. Верите ли, когда я пил у колодцев с журавлями воду, и в жидовских корчмах поганую водку, когда в тихие вечера доносились до меня звуки хохлацкой скрипки и бубна, то меня манила обворожительная мысль засесть у себя на хуторе и жить в нем, пока живется, подальше от этих съездов, умных разговоров, философствующих женщин, длинных обедов...

Петр Дмитрич не лгал. Ему было тяжело и в самом деле хотелось отдохнуть. И в Полтавскую губернию ездил он только затем, чтобы не видеть своего кабинета, прислуги, знакомых и всего, что могло бы напоминать ему об его раненом самолюбии и ошибках.

Любочка вдруг вскочила и в ужасе замахала руками.

Ах, пчела, пчела! взвизгнула она. Укусит!

Полноте, не укусит! сказал Петр Дмитрич, Какая вы трусиха!

Нет, нет, нет! крикнула Любочка и, оглядываясь на пчелу, быстро пошла назад.

Петр Дмитрич уходил за нею и смотрел ей вслед с умилением и грустью. Должно быть, глядя на нее, он думал о своем хуторе, об одиночестве и кто знает? быть может, даже думал о том, как бы тепло и уютно жилось ему на хуторе, если бы женой его была эта девочка молодая, чистая, свежая, не испорченная курсами, не беременная...

Когда голоса и шаги затихли, Ольга Михайловна вышла из шалаша и направилась к дому. Ей хотелось плакать. Она уже сильно ревновала мужа. Ей было понятно, что Петр Дмитрич утомился, был недоволен собой и стыдился, а когда стыдятся, то прячутся прежде всего от близких и откровенничают с чужими; ей было также понятно, что Любочка не опасна, как и все те женщины, которые пили теперь в доме кофе. Но в общем всё было непонятно, страшно, и Ольге Михайловне уже казалось, что Петр Дмитрич не принадлежит ей наполовину...

Он не имеет права! бормотала она, стараясь осмыслить свою ревность и свою

досаду на мужа. Он не имеет никакого права. Я ему сейчас всё выскажу! Она решила сейчас же найти мужа и высказать ему всё: гадко, без конца гадко, что он нравится чужим женщинам и добивается этого, как манны небесной; несправедливо и нечестно, что он отдает чужим то, что по праву принадлежит его жене, прячет от жены свою душу и совесть, чтобы открывать их первому встречному хорошенькому личику. Что худого сделала ему жена? В чем она провинилась? Наконец, давно уже надоело его лганье: он постоянно рисуется, кокетничает, говорит не то, что думает, и старается казаться не тем, что он есть и кем ему быть должно. К чему эта ложь? Пристала ли она порядочному человеку? Если он лжет, то оскорбляет и себя и тех, кому лжет, и не уважает того, о чем лжет. Неужели ему не понятно, что если он кокетничает и ломается за судейским столом или, сидя за обедом, трактует о прерогативах власти только для того, чтобы насолить дяде, неужели ему не понятно, что этим самым он ставит ни в грош и суд, и себя, и всех, кто его слушает и видит?

Выйдя на большую аллею, Ольга Михайловна придала себе такое выражение, как будто уходила сейчас по хозяйственным надобностям. На террасе мужчины пили ликер и закусывали ягодами; один из них, судебный следователь, толстый пожилой человек, балагур и остряк, должно быть, рассказывал какой-нибудь нецензурный анекдот, потому что, увидев хозяйку, он вдруг схватил себя за жирные губы, выпучил глаза и присел. Ольга Михайловна не любила уездных чиновников. Ей не нравились их неуклюжие церемонные жены, сплетни, частые поездки в гости, лесть перед ее мужем, которого все они ненавидели. Теперь же, когда они пили, были сыты и не собирались уезжать, она чувствовала, что их присутствие утомительно до тоски, но, чтобы не показаться нелюбезной, она приветливо улыбнулась судебному следователю и погрозила ему пальцем. Через залу и гостиную она прошла улыбаясь и с таким видом, как будто шла приказать что-то и распорядиться. Не дай бог, если кто остановит! думала она, но сама заставила себя остановиться в гостиной, чтобы из приличия послушать молодого человека, который сидел за пианино и играл; постояв минутку, она крикнула: Браво, браво, m-г Жорж! и, хлопнув два раза в ладоши, пошла дальше. Мужа нашла она в кабинете. Он сидел у стола и о чем-то думал. Лицо его было строго, задумчиво и виновато. Это уж был не тот Петр Дмитрич, который спорил за обедом и которого знают гости, а другой утомленный, виноватый и недовольный собой, которого знает одна только жена. В кабинет пришел он, должно быть, для того, чтобы взять папирос. Перед ним лежал открытый портсигар, набитый папиросами, и одна рука была опущена в ящик стола. Как брал папиросы, так и застыл.

Ольге Михайловне стало жаль его. Было ясно, как день, что человек томился и

не находил места, быть может, боролся с собой. Ольга Михайловна молча подошла к столу; желая показать, что она не помнит обеденного спора и уже не сердится, она закрыла портсигар и положила его мужу в боковой карман. Что сказать ему? думала она. Я скажу, что ложь тот же лес: чем дальше в лес, тем труднее выбраться из него. Я скажу: ты увлекся своею фальшивою ролью и зашел слишком далеко; ты оскорбил людей, которые были к тебе привязаны и не сделали тебе никакого зла. Поди же, извинись перед ними, посмейся над самим собой, и тебе станет легко. А если хочешь тишины и одиночества, то уедем отсюда вместе.

Встретясь глазами с женой, Петр Дмитрич вдруг придал своему лицу выражение, какое у него было за обедом и в саду, равнодушное и слегка насмешливое, зевнул и поднялся с места.

Теперь шестой час, сказал он, взглянув на часы. Если гости смилостивятся и уедут в одиннадцать, то и тогда нам остается ждать еще шесть часов. Весело, нечего сказать!

И, что-то насвистывая, он медленно, своею обычною солидною походкой, вышел из кабинета. Слышно было, как он, солидно ступая, прошел через залу, потом через гостиную, чему-то солидно засмеялся и сказал игравшему молодому человеку: Бра-о! бра-о! Скоро шаги его затихли: должно быть, вышел в сад. И уж не ревность и не досада, а настоящая ненависть к его шагам, неискреннему смеху и голосу овладела Ольгой Михайловной. Она подошла к окну и поглядела в сад. Петр Дмитрич шел уже по аллее. Заложив одну руку в карман и щелкая пальцами другой, слегка откинув назад голову, он шел солидно, вразвалку и с таким видом, как будто был очень доволен и собой, и обедом, и пищеварением, и природой...

На аллее показались два маленьких гимназиста, дети помещицы Чижевской, только что приехавшие, а с ними студент-гувернер в белом кителе и в очень узких брюках. Поравнявшись с Петром Дмитричем, дети и студент остановились и, вероятно, поздравили его с ангелом. Красиво поводя плечами, он потрепал детей за щеки и подал студенту руку небрежно, не глядя на него. Должно быть, студент похвалил погоду и сравнил ее с петербургской, потому что Петр Дмитрич сказал громко и таким тоном, как будто говорил не с гостем, а с судебным приставом или со свидетелем:

Что-с? У вас в Петербурге холодно? А у нас тут, батенька мой, благодать, воздухов и изобилие плодов земных. А? Что?

И, заложив в карман одну руку и щелкнув пальцами другой, он зашагал дальше. Пока он не скрылся за кустами орешника, Ольга Михайловна всё время смотрела ему в затылок и недоумевала. Откуда у тридцатичетырехлетнего человека эта солидная, генеральская походка? Откуда тяжелая, красивая поступь? Откуда эта начальническая вибрация в

голосе, откуда все эти что-с, н-да-с и батенька?

Ольга Михайловна вспомнила, как она, чтобы не скучать одной дома, в первые месяцы замужества ездила в город на съезд, где иногда вместо ее крестного отца, графа Алексея Петровича, председательствовал Петр Дмитрич. На председательском кресле, в мундире и с цепью на груди, он совершенно менялся. Величественные жесты, громовый голос, что-с, н-да-с, небрежный тон... Всё обыкновенное человеческое, свое собственное, что привыкла видеть в нем Ольга Михайловна дома, исчезало в величии, и на кресле сидел не Петр Дмитрич, а какой-то другой человек, которого все звали господином председателем. Сознание, что он власть, мешало ему покойно сидеть на месте, и он искал случая, чтобы позвонить, строго взглянуть на публику, крикнуть... Откуда брались близорукость и глухота, когда он вдруг начинал плохо видеть и слышать и, величественно морщась, требовал, чтобы говорили громче и поближе подходили к столу. С высоты величия он плохо различал лица и звуки, так что если бы, кажется, в эти минуты подошла к нему сама Ольга Михайловна, то он и ей бы крикнул: Как ваша фамилия?

Свидетелям-крестьянам он говорил ты, на публику кричал так, что его голос был слышен даже на улице, а с адвокатами держал себя невозможно. Если приходилось говорить присяжному поверенному, то Петр Дмитрич сидел к нему несколько боком и щурил глаза в потолок, желая этим показать, что присяжный поверенный тут вовсе не нужен и что он его не признает и не слушает; если же говорил серо одетый частный поверенный, то Петр Дмитрич весь превращался в слух и измерял поверенного насмешливым, уничтожающим взглядом: вот, мол, какие теперь адвокаты! Что же вы хотите этим сказать? перебивал он. Если витиеватый поверенный употреблял какое-нибудь иностранное слово и, например, вместо фиктивный произносил фактивный, то Петр Дмитрич вдруг оживлялся и спрашивал: Что-с? Как? Фактивный? А что это значит? и потом наставительно замечал: Не употребляйте тех слов, которых вы не понимаете. И поверенный, кончив свою речь, отходил от стола красный и весь в поту, а Петр Дмитрич, самодовольно улыбаясь, торжествуя победу, откидывался на спинку кресла. В своем обращении с адвокатами он несколько подражал графу Алексею Петровичу, но у графа, когда тот, например, говорил: Защита, помолчите немножко! это выходило старчески-добродушно и естественно, у Петра же Дмитрича грубовато и натянуто.

Послышались аплодисменты. Это молодой человек кончил играть. Ольга Михайловна вспомнила про гостей и поторопилась в гостиную.

Я вас заслушалась, сказала она, подходя к пианино. Я вас заслушалась. У вас удивительные способности! Но не находите ли вы, что наш пианино

расстроен?

В это время в гостиную входили два гимназиста и с ними студент.

Боже мой, Митя и Коля! сказала протяжно и радостно Ольга Михайловна, идя к ним навстречу. Какие большие стали! Даже не узнаешь вас! А где же ваша мама?

Поздравляю вас с именинником, начал развязно студент, и желаю всего лучшего. Екатерина Андреевна поздравляет и просит извинения. Она не совсем здорова.

Какая же она недобрая! Я ее весь день ждала. А вы давно из Петербурга? спросила Ольга Михайловна студента. Какая теперь там погода? и, не дожидаясь ответа, она ласково взглянула на гимназистов и повторила: Какие большие выросли! Давно ли они приезжали сюда с няней, а теперь уже гимназисты! Старое старится, а молодое растет... Вы обедали?

Ах, не беспокойтесь, пожалуйста! сказал студент.

Ведь вы не обедали?

Ради бога, не беспокойтесь!

Но ведь вы хотите есть? спросила Ольга Михайловна грубым и жестким голосом, нетерпеливо и с досадой это вышло у нее нечаянно, но тотчас же она закашлялась, улыбнулась, покраснела. Какие большие выросли! сказала она мягко.

Не беспокойтесь, пожалуйста! сказал еще раз студент.

Студент просил не беспокоиться, дети молчали; очевидно, все трое хотели есть. Ольга Михайловна повела их в столовую и приказала Василию накрыть на стол.

Недобрая ваша мама! говорила она, усаживая их. Совсем меня забыла.

Недобрая, недобрая, недобрая... Так и скажите ей. А вы на каком факультете? спросила она у студента.

На медицинском.

Ну, а у меня слабость к докторам, представьте. Я очень жалею, что мой муж не доктор. Какое надо иметь мужество, чтобы, например, делать операции или резать трупы! Ужасно! Вы не боитесь? Я бы, кажется, умерла от страха. Вы, конечно, выпьете водки?

Не беспокойтесь, пожалуйста.

С дороги нужно, нужно выпить. Я женщина, да и то пью иногда. А Митя и Коля выпьют малаги. Вино слабенькое, не бойтесь. Какие они, право, молодцы! Женить даже можно.

Ольга Михайловна говорила без умолку. Она по опыту знала, что, занимая гостей, гораздо легче и удобнее говорить, чем слушать. Когда говоришь, нет надобности напрягать внимание, придумывать ответы на вопросы и менять выражение лица. Но она нечаянно задала какой-то серьезный вопрос, студент

стал говорить длинно, и ей поневоле пришлось слушать. Студент знал, что она когда-то была на курсах, а потому, обращаясь к ней, старался казаться серьезным.

Вы на каком факультете? спросила она, забыв, что однажды уже задавала этот вопрос.

На медицинском.

Ольга Михайловна вспомнила, что давно уже не была с дамами.

Да? Значит, вы доктором будете? сказала она, поднимаясь. Это хорошо. Я жалею, что сама не пошла на медицинские курсы. Так вы тут пообедайте, господа, и выходите в сад. Я вас познакомлю с барышнями.

Она вышла и взглянула на часы: было без пяти минут шесть. И она удивилась, что время идет так медленно, и ужаснулась, что до полуночи, когда разъедутся гости, осталось еще шесть часов. Куда убить эти шесть часов? Какие фразы говорить? Как держать себя с мужем?

В гостиной и на террасе не были ни души. Все гости разбрелись по саду. Нужно будет предложить им до чая прогулку в березняк или катанье на лодках, думала Ольга Михайловна, торопясь к крокету, откуда слышались голоса и смех. А стариков усадить играть в винт...

От крокета навстречу ей шел лакей Григорий с пустыми бутылками.

Где же барыни? спросила она.

В малиннике. Там и барин.

А, господи боже мой! с ожесточением крикнул кто-то на крокете. Да я же тысячу раз же говорил вам то же самое! Чтобы знать болгар, надо их видеть! Нельзя судить по газетам!

От этого ли крика или от чего другого, Ольга Михайловна вдруг почувствовала сильную слабость во всем теле, особенно в ногах и в плечах. Ей вдруг захотелось не говорить, не слышать, не двигаться.

Григорий, сказала она томно и с усилием, когда вы будете подавать чай или что-нибудь, то, пожалуйста, не обращайтесь ко мне, не спрашивайте, не говорите ни о чем... Делайте всё сами и... и не стучите ногами. Умоляю... Я не могу, потому что...

Она не договорила и пошла дальше к крокету, но по дороге вспомнила о барынях и повернула к малиннику. Небо, воздух и деревья по-прежнему хмурились и обещали дождь; было жарко и душно; громадные стаи ворон, предчувствуя непогоду, с криком носились над садом. Чем ближе к огороду, тем аллеи становились запущеннее, темнее и уже; на одной из них, прятая в густой заросли диких груш, кислиц, молодых дубков, хмеля, целые облака мелких черных мошек окружили Ольгу Михайловну; она закрыла руками лицо и стала насильно воображать маленького человечка... В воображении пронесли Григорий, Митя, Коля, лица мужиков, приходивших

утром поздравлять...

Послышались чьи-то шаги, и она открыла глаза. К ней навстречу быстро шел дядя Николай Николаич.

Это ты, милая? Очень рад... начал он, задыхаясь. На два слова... Он вытер платком свой бритый красный подбородок, потом вдруг отступил шаг назад, всплеснул руками и выпучил глаза. Матушка, до каких же пор это будет продолжаться? заговорил он быстро, захлебываясь. Я тебя спрашиваю: где границы? Не говорю уже о том, что его держимордовские взгляды деморализуют среду, что он оскорбляет во мне и в каждом честном, мыслящем человеке всё святое и лучшее не говорю, но пусть он будет хоть приличен! Что такое? Кричит, рычит, ломается, корчит из себя какого-то Бонапарта, не дает слова сказать... чёрт его знает! Какие-то величественные жесты, генеральский смех, снисходительный тон! Да позвольте вас спросить: кто он такой? Я тебя спрашиваю: кто он такой? Муж своей жены, мелкопоместный титуляр, которому посчастливилось жениться на богатой! Выскочка и юнкер, каких много! Щедринский тип! Клянусь богом, что-нибудь из двух: или он страдает манией величия, или в самом деле права эта старая, выжившая из ума крыса, граф Алексей Петрович, когда говорит, что теперешние дети и молодые люди поздно становятся взрослыми и до сорока лет играют в извозчики и в генералы!

Это верно, верно... согласилась Ольга Михайловна. Позволь мне пройти. Теперь ты рассуди, к чему это поведет? продолжал дядя, загораживая ей дорогу. Чем кончится эта игра в консерватизм и в генералы? Уже под суд попал! Попал! Я очень рад! Докричался и достукался до того, что угодил на скамью подсудимых. И не то чтобы окружный суд или что, а судебная палата! Хуже этого, кажется, и придумать нельзя! Во-вторых, со всеми рассорился! Сегодня именины, а, погляди, не приехали ни Востряков, ни Яхонтов, ни Владимиров, ни Шевуд, ни граф... На что, кажется, консервативнее графа Алексея Петровича, да и тот не приехал. И никогда больше не приедет! Увидишь, что не приедет!

Ах, боже мой, да я-то тут при чем? спросила Ольга Михайловна.

Как при чем? Ты его жена! Ты умна, была на курсах, и в твоей власти сделать из него честного работника!

На курсах не учат, как влиять на тяжелых людей. Я должна буду, кажется, просить у всех вас извинения, что была на курсах! сказала Ольга Михайловна резко. Послушай, дядя, если у тебя целый день над ухом будут играть одни и те же гаммы, то ты не усидишь на месте и сбежишь. Я уж круглый год по целым дням слышу одно и то же, одно и то же. Господа, надо же, наконец, иметь сожаление!

Дядя сделал очень серьезное лицо, потом пытливо поглядел на нее и

покривил рот насмешливою улыбкой.

Вот оно что! пропел он старушечьим голосом. Виноват-с! сказал он и церемонно раскланялся. Если ты сама подпала под его влияние и изменила убеждения, то так бы и сказала раньше. Виноват-с!

Да, я изменила убеждения! крикнула она. Радуйся!

Виноват-с!

Дядя в последний раз церемонно поклонился, как-то вбок, и, весь съежившись, шаркнул ногой и пошел назад.

Дурак, подумала Ольга Михайловна. И ехал бы себе домой.

Дам и молодежь нашла она на огороде в малиннике. Одни ели малину, другие, кому уже надоела малина, бродили по грядам клубники или рылись в сахарном горошке. Несколько в стороне от малинника, около ветвистой яблони, кругом подпертой палками, повыдерганными из старого палисадника, Петр Дмитрич косил траву. Волосы его падали на лоб, галстук развязался, часовая цепочка выпала из петли. В каждом его шаге и взмахе косой чувствовались умение и присутствие громадной физической силы. Возле него стояли Любочка и дочери соседа, полковника Букреева, Наталья и Валентина, или, как их все звали, Ната и Вата, анемичные и болезненно-полные блондинки лет 1617, в белых платьях, поразительно похожие друг на друга.

Петр Дмитрич учил их косить.

Это очень просто... говорил он. Нужно только уметь держать косу и не горячиться, то есть не употреблять силы больше, чем нужно. Вот так... Не угодно ли теперь вам? предложил он косу Любочке. Ну-ка!

Любочка неумело взяла в руки косу, вдруг покраснела и засмеялась.

Не робейте, Любовь Александровна! крикнула Ольга Михайловна так громко, чтобы ее могли слышать все дамы и знать, что она с ними. Не робейте! Надо учиться! Выйдете за толстовца, косить заставит.

Любочка подняла косу, но опять засмеялась и, обессилев от смеха, тотчас же опустила ее. Ей было стыдно и приятно, что с нею говорят, как с большой.

Ната, не улыбаясь и не робея, с серьезным, холодным лицом, взяла косу, взмахнула и запутала ее в траве; Вата, тоже не улыбаясь, серьезная и холодная, как сестра, молча взяла косу и вонзила ее в землю. Прodelав это, обе сестры взялись под руки и молча пошли к малине.

Петр Дмитрич смеялся и шалил, как мальчик, и это детски-шаловливое настроение, когда он становился чрезмерно добродушен, шло к нему гораздо более, чем что-либо другое. Ольга Михайловна любила его таким. Но мальчишество его продолжалось обыкновенно недолго. Так и на этот раз, пошалив с косой, он почему-то нашел нужным придать своей шалости серьезный оттенок.

Когда я кошу, то чувствую себя, знаете ли, здоровее и нормальнее, сказал он.

Если бы меня заставили довольствоваться одною только умственной жизнью, то я бы, кажется, с ума сошел. Чувствую, что я не родился культурным человеком! Мне бы косить, пахать, сеять, лошадей выезжать...

И у Петра Дмитрича с дамами начался разговор о преимуществах физического труда, о культуре, потом о вреде денег, о собственности. Слушая мужа, Ольга Михайловна почему-то вспомнила о своем приданом.

А ведь будет время, подумала она, когда он не простит мне, что я богаче его. Он горд и самолюбив. Пожалуй, возненавидит меня за то, что многим обязан мне.

Она остановилась около полковника Букреева, который ел малину и тоже принимал участие в разговоре.

Пожалуйста, сказал он, давая дорогу Ольге Михайловне и Петру Дмитричу. Тут самая спелая... Итак-с, по мнению Прудона, продолжал он, возвысив голос, собственность есть воровство. Но я, признаться, Прудона не признаю и философом его не считаю. Для меня французы не авторитет, бог с ними!

Ну, что касается Прудонов и всяких там Боклей, то я тут швах, сказал Петр Дмитрич. Насчет философии обращайтесь вот к ней, к моей супруге. Она была на курсах и всех этих Шопенгауэров и Прудонов насквозь...

Ольге Михайловне опять стало скучно. Она опять пошла по саду, по узкой тропиночке, мимо яблонь и груш, и опять у нее был такой вид, как будто шла она по очень важному делу. А вот изба садовника... На пороге сидела жена садовника Варвара и ее четверо маленьких ребятишек с большими стриженными головами. Варвара тоже была беременна и собиралась родить, по ее вычислениям, к Илье-пророку. Поздоровавшись, Ольга Михайловна молча оглядела ее и детей и спросила:

Ну, как ты себя чувствуешь?

А ничего...

Наступило молчание. Обе женщины молча как будто понимали друг друга. Страшно родить в первый раз, сказала Ольга Михайловна, подумав, мне всё кажется, что я не перенесу, умру.

И мне представлялось, да вот жива же... Мало ли чего!

Варвара, беременная уже в пятый раз и опытная, глядела на свою барыню несколько свысока и говорила с нею наставительным тоном, а Ольга Михайловна невольно чувствовала ее авторитет; ей хотелось говорить о своем страхе, о ребенке, об ощущениях, но она боялась, чтобы это не показалось Варваре мелочным и наивным. И она молчала и ждала, когда сама Варвара скажет что-нибудь.

Оля, домой идем! крикнул из малинника Петр Дмитрич.

Ольге Михайловне нравилось молчать, ждать и глядеть на Варвару. Она согласилась бы простоять так, молча и без всякой надобности, до самой ночи.

Но нужно было идти. Едва она отошла от избы, как уж к ней навстречу бежали Любочка, Вата и Ната. Две последние не добежали до нее на целую сажень и обе разом остановились, как вкопанные; Любочка же добежала и повисла к ней на шею.

Милая! Хорошая! Бесценная! заговорила она, целуя ее в лицо и в шею.

Поедемте чай пить на остров!

На остров! На остров! сказали обе разом одинаковые Вата и Ната, не улыбаясь.

Но ведь дождь будет, мои милые.

Не будет, не будет! крикнула Любочка, делая плачущее лицо. Все согласны ехать! Милая, хорошая!

Там все собираются ехать чай пить на остров, сказал Петр Дмитрич, подходя. Распорядись... Мы все поедem на лодках, а самовары и всё прочее надо отправить с прислугой в экипаже.

Он пошел рядом с женой и взял ее под руку. Ольге Михайловне захотелось сказать мужу что-нибудь неприятное, колкое, хотя бы даже упомянуть о приданом, чем жестче, тем, казалось, лучше. Она подумала и сказала: Отчего это граф Алексей Петрович не приехал? Как жаль!

Я очень рад, что он не приехал, солгал Петр Дмитрич. Мне этот юродивый надоел пуще горькой редьки.

Но ведь ты до обеда ждал его с таким нетерпением!

Через полчаса все гости уже толпились на берегу около свай, где были привязаны лодки. Все много говорили, смеялись и от излишней суеты никак не могли усесться в лодки. Три лодки были уже битком набиты пассажирами, а две стояли пустые. От этих двух пропали куда-то ключи, и от реки то и дело бегали во двор посланные поискать ключей. Одни говорили, что ключи у Григория, другие что они у приказчика, третьи советовали призвать кузнеца и отбить замки. И все говорили разом, перебивая и заглушая друг друга. Петр Дмитрич нетерпеливо шагал по берегу и кричал:

Это чёрт знает что такое! Ключи должны всегда лежать в передней на окне! Кто смел взять их оттуда? Приказчик может, если ему угодно, завести себе свою лодку!

Наконец, ключи нашлись. Тогда оказалось, что не хватает двух весел. Снова поднялась суматоха. Петр Дмитрич, которому наскучило шагать, прыгнул в узкий и длинный челн, выдолбленный из тополя, и, покачнувшись, едва не упав в воду, отчалил от берега. За ним одна за другою, при громком смехе и визге барышень, поплыли и другие лодки.

Белое облачное небо, прибрежные деревья, камыши, лодки с людьми и с веслами отражались в воде, как в зеркале; под лодками, далеко в глубине, в

бездонной пропасти тоже было небо и летали птицы. Один берег, на котором стояла усадьба, был высок, крут и весь покрыт деревьями; на другом, отлогом, зеленели широкие заливные луга и блестели заливы. Проплыли лодки саженой пятьдесят, и из-за печально склонившихся верб на отлогом берегу показались избы, стадо коров; стали слышаться песни, пьяные крики и звуки гармоники.

Там и сям по реке шныряли челны рыболовов, плывших ставить на ночь свои переметы. В одном челноке сидели подгулявшие музыканты-любители и играли на самоделковых скрипках и виолончели.

Ольга Михайловна сидела у руля. Она приветливо улыбалась и много говорила, чтобы занять гостей, а сама искоса поглядывала на мужа. Он плыл на своем челне впереди всех, стоя и работая одним веслом. Легкий остроносый челнок, который все гости звали душегубкой, а сам Петр Дмитрич почему-то Пендераклией, бежал быстро; он имел живое, хитрое выражение и, казалось, ненавидел тяжелого Петра Дмитрича и ждал удобной минуты, чтобы выскользнуть из-под его ног. Ольга Михайловна посматривала на мужа, и ей были противны его красота, которая нравилась всем, затылок, его поза, фамильярное обращение с женщинами; она ненавидела всех женщин, сидевших в лодке, ревновала и в то же время каждую минуту вздрагивала и боялась, чтобы валкий челнок не опрокинулся и не наделал бед.

Тише, Петр! кричала она, и сердце ее замирало от страха. Садись в лодку! Мы и так верим, что ты смел!

Беспокоили ее и те люди, которые сидели с нею в лодке. Всё это были обыкновенные, недурные люди, каких много, но теперь каждый из них представлялся ей необыкновенным и дурным. В каждом она видела одну только неправду. Вот, думала она, работает веслом молодой шатен в золотых очках и с красивою бородкой, это богатый, сытый и всегда счастливый маменькин сынок, которого все считают честным, свободомыслящим, передовым человеком. Еще года нет, как он кончил в университете и приехал на житье в уезд, но уж говорит про себя: Мы земские деятели. Но пройдет год, и он, как многие другие, соскучится, уедет в Петербург и, чтобы оправдать свое бегство, будет всюду говорить, что земство никуда не годится и что он обманут. А с другой лодки, не отрывая глаз, глядит на него молодая жена и верит, что он земский деятель, как через год поверит тому, что земство никуда не годится. А вот полный, тщательно выбритый господин в соломенной шляпе с широкою лентой и с дорогою сигарой в зубах. Этот любит говорить: Пора нам бросить фантазии и приняться за дело! У него иоркширские свиньи, бутлеровские ульи, рапс, ананасы, маслобойня, сыроварня, итальянская двойная бухгалтерия. Но каждое лето, чтобы осенью жить с любовницей в Крыму, он продает на сруб свой лес и закладывает по частям землю. А вот

дядюшка Николай Николаич, который сердит на Петра Дмитрича и все-таки почему-то не уезжает домой!

Ольга Михайловна поглядывала на другие лодки и там она видела одних только неинтересных чудаков, актеров или недалеких людей. Вспомнила она всех, кого только знала в уезде, и никак не могла вспомнить ни одного такого человека, о котором могла бы сказать или подумать хоть что-нибудь хорошее. Все, казалось ей, бездарны, бледны, недалеки, узки, фальшивы, бессердечны, все говорили не то, что думали, и делали не то, что хотели. Скука и отчаяние душили ее; ей хотелось вдруг перестать улыбаться, вскочить и крикнуть: Вы мне надоели! и потом прыгнуть из лодки и поплыть к берегу.

Господа, возьмем Петра Дмитрича на буксир! крикнул кто-то.

На буксир! На буксир! подхватили остальные. Ольга Михайловна, берите на буксир вашего мужа!

Чтобы взять на буксир, Ольга Михайловна, сидевшая у руля, должна была не пропустить момента и ловко схватить Пендераклию у носа за цепь. Когда она нагибалась за цепью, Петр Дмитрич поморщился и испуганно посмотрел на нее.

Как бы ты не простудилась тут! сказал он.

Если ты боишься за меня и за ребенка, то зачем же ты меня мучишь?

подумала Ольга Михайловна.

Петр Дмитрич признал себя побежденным и, не желая плыть на буксире, прыгнул с Пендераклии в лодку, и без того уж набитую пассажирами, прыгнул так неаккуратно, что лодка сильно накренилась, и все вскрикнули от ужаса. Это он прыгнул, чтобы нравиться женщинам, подумала Ольга Михайловна. Он знает, что это красиво...

У нее, как думала она, от скуки, досады, от напряженной улыбки и от неудобства, какое чувствовалось во всем теле, началась дрожь в руках и ногах. И чтобы скрыть от гостей эту дрожь, она старалась громче говорить, смеяться, двигаться...

В случае, если я вдруг заплачу, думала она, то скажу, что у меня болят зубы... Но вот, наконец, лодки пристали к острову Доброй Надежды. Так назывался полуостров, образовавшийся вследствие загиба реки под острым углом, покрытый старою рощей из березы, дуба, вербы и тополя. Под деревьями уже стояли столы, дымили самовары, и около посуды уже хлопотали Василий и Григорий, в своих фраках и в белых вязаных перчатках. На другом берегу, против Доброй Надежды, стояли экипажи, приехавшие с провизией. С экипажей корзины и узлы с провизией переправлялись на остров в челноке, очень похожем на Пендераклию. У лакеев, кучеров и даже у мужика, который сидел в челноке, выражение лиц было торжественное, именинное, какое бывает только у детей и прислуги.

Пока Ольга Михайловна заваривала чай и наливала первые стаканы, гости занимались наливкой и сладостями. Потом же началась суматоха, обычная на пикниках во время чаепития, очень скучная и утомительная для хозяек. Едва Григорий и Василий успели разнести, как к Ольге Михайловне уже потянулись руки с пустыми стаканами. Один просил без сахара, другой покрепче, третий пожиже, четвертый благодарил. И всё это Ольга Михайловна должна была помнить и потом кричать: Иван Петрович, это вам без сахара? или: Господа, кто просил пожиже? Но тот, кто просил пожиже или без сахара, уже не помнил этого и, увлекшись приятными разговорами, брал первый попавшийся стакан. В стороне от стола бродили, как тени, унылые фигуры и делали вид, что ищут в траве грибов или читают этикетки на коробках, это те, которым не хватило стаканов. Вы пили чай? спрашивала Ольга Михайловна, и тот, к кому относился этот вопрос, просил не беспокоиться и говорил: Я подожду, хотя для хозяйки было удобнее, чтобы гости не ждали, а торопились.

Одни, занятые разговорами, пили чай медленно, задерживая у себя стаканы по полчаса, другие же, в особенности кто много пил за обедом, не отходили от стола и выпивали стакан за стаканом, так что Ольга Михайловна едва успевала наливать. Один молодой шутник пил чай вприкуску и всё приговаривал: Люблю, грешный человек, побаловать себя китайскою травкой. То и дело просил он с глубоким вздохом: Позвольте еще одну черепушечку! Пил он много, сахар кусал громко и думал, что всё это смешно и оригинально и что он отлично подражает купцам. Никто не понимал, что все эти мелочи были мучительны для хозяйки, да и трудно было понять, так как Ольга Михайловна всё время приветливо улыбалась и болтала вздор.

А она чувствовала себя нехорошо... Ее раздражали многолюдство, смех, вопросы, шутник, ошеломленные и сбившиеся с ног лакеи, дети, вертевшиеся около стола; ее раздражало, что Вата похожа на Нату, Коля на Митю и что не разберешь, кто из них пил уже чай, а кто еще нет. Она чувствовала, что ее напряженная приветливая улыбка переходит в злое выражение, и ей каждую минуту казалось, что она сейчас заплачет.

Господа, дождь! крикнул кто-то.

Все посмотрели на небо.

Да, в самом деле дождь... подтвердил Петр Дмитрич и вытер щеку.

Небо уронило только несколько капель, настоящего дождя еще не было, но гости побросали чай и заторопились. Сначала все хотели ехать в экипажах, но раздумали и направились к лодкам. Ольга Михайловна, под предлогом, что ей нужно поскорее распорядиться насчет ужина, попросила позволения отстать от общества и ехать домой в экипаже.

Сидя в коляске, она прежде всего дала отдохнуть своему лицу от улыбки. С злым лицом она ехала через деревню и с злым лицом отвечала на поклоны встречных мужиков. Приехав домой, она прошла черным ходом к себе в спальню и прилегла на постель мужа.

Господи, боже мой, шептала она, к чему эта каторжная работа? К чему эти люди толкуются здесь и делают вид, что им весело? К чему я улыбаюсь и лгу? Не понимаю, не понимаю!

Послышались шаги и голоса. Это вернулись гости.

Пусть, подумала Ольга Михайловна. Я еще полежу.

Но в спальню вошла горничная и сказала:

Барыня, Марья Григорьевна уезжает!

Ольга Михайловна вскочила, поправила прическу и поспешила из спальни.

Марья Григорьевна, что же это такое? начала она обиженным голосом, идя навстречу Марье Григорьевне. Куда вы это торопитесь?

Нельзя, голубчик, нельзя! Я и так уже засиделась. Меня дома дети ждут.

Недобрая вы! Отчего же вы детей с собой не взяли?

Милая, если позволите, я привезу их к вам как-нибудь в будень, но сегодня...

Ах, пожалуйста, перебила Ольга Михайловна, я буду очень рада! Дети у вас такие милые! Поцелуйте их всех... Но, право, вы меня обижаете! Зачем торопиться, не понимаю!

Нельзя, нельзя... Прощайте, милая. Берегите себя. Вы ведь в таком теперь положении...

И обе поцеловались. Проводив гостью до экипажа, Ольга Михайловна пошла в гостиную к дамам. Там уж огни были зажжены, и мужчины усаживались играть в карты.

Гости стали разъезжаться после ужина, в четверть первого. Провожая гостей, Ольга Михайловна стояла на крыльце и говорила:

Право, вы бы взяли шаль! Становится немножко свежо. Не дай бог, простудитесь!

Не беспокойтесь, Ольга Михайловна! отвечали гости, усаживаясь. Ну, прощайте! Смотрите же, мы ждем вас! Не обманите!

Тпррр! сдерживал кучер лошадей.

Трогай, Денис! Прощайте, Ольга Михайловна!

Детей поцелуйте!

Коляска трогалась с места и тотчас же исчезала в потемках. В красном круге, бросаемом лампою на дорогу, показывалась новая пара или тройка нетерпеливых лошадей и силуэт кучера с протянутыми вперед руками. Опять начинались поцелуи, упреки и просьбы приехать еще раз или взять шаль.

Петр Дмитрич выбегал из передней и помогал дамам сесть в коляску. Ты поезжай теперь на Ефремовщину, учил он кучера. Через Манькино ближе, да там дорога хуже. Чего доброго, опрокинешь... Прощайте, моя прелесть! Mille compliments 1 вашему художнику!

Прощайте, душечка, Ольга Михайловна! Уходите в комнаты, а то простудитесь! Сыро!

Тпрррр! Балуетесь!

Это какие же у вас лошади? спрашивал Петр Дмитрич.

В Великом посту у Хайдарова купили, отвечал кучер.

Славные конячки...

И Петр Дмитрич хлопал пристяжную по крупу.

Ну, трогай! Дай бог час добрый!

Наконец уехал последний гость. Красный круг на дороге закачался, поплыл в сторону, сузился и погас это Василий унес с крыльца лампу. В прошлые разы обыкновенно, проводив гостей, Петр Дмитрич и Ольга Михайловна начинали прыгать в зале друг перед другом, хлопать в ладоши и петь: Уехали! уехали! уехали! Теперь же Ольге Михайловне было не до того. Она пошла в спальню, разделась и легла в постель.

Ей казалось, что она уснет тотчас же и будет спать крепко. Ноги и плечи ее болезненно ныли, голова отяжелела от разговоров, и во всем теле по-прежнему чувствовалось какое-то неудобство. Укрывшись с головой, она полежала минуты три, потом взглянула из-под одеяла на лампадку, прислушалась к тишине и улыбнулась.

Хорошо, хорошо... зашептала она, подгибая ноги, которые, казалось ей, оттого, что она много ходила, стали длиннее. Спать, спать...

Ноги не укладывались, всему телу было неудобно, и она повернулась на другой бок. По спальне с жужжаньем летала большая муха и беспокойно билась о потолок. Слышно было также, как в зале Григорий и Василий, осторожно ступая, убирали столы; Ольге Михайловне стало казаться, что она уснет и ей будет удобно только тогда, когда утихнут эти звуки. И она опять нетерпеливо повернулась на другой бок.

Послышался из гостиной голос мужа. Должно быть, кто-нибудь остался ночевать, потому что Петр Дмитрич к кому-то обращался и громко говорил: Я не скажу, чтобы граф Алексей Петрович был фальшивый человек. Но он поневоле кажется таким, потому что все вы, господа, стараетесь видеть в нем не то, что он есть на самом деле. В его юродивости видят оригинальный ум, в фамильярном обращении добродушие, в полном отсутствии взглядов видят консерватизм. Допустим даже, что он в самом деле консерватор восемьдесят четвертой пробы. Но что такое в сущности консерватизм?

Петр Дмитрич, сердитый и на графа Алексея Петровича, и на гостей, и на

самого себя, отводил теперь душу. Он бранил и графа, и гостей, и с досады на самого себя готов был высказывать и проповедовать, что угодно. Проводив гостя, он походил из угла в угол по гостиной, прошелся по столовой, по коридору, по кабинету, потом опять по гостиной, и вошел в спальню. Ольга Михайловна лежала на спине, укрытая одеялом только по пояс (ей уже казалось жарко), и со злым лицом следила за мухой, которая стучала по потолку.

Разве кто остался ночевать? спросила она.

Егоров.

Петр Дмитрич разделся и лег на свою постель. Он молча закурил папиросу и тоже стал следить за мухой. Взгляд его был суров и беспокоен. Молча минут пять Ольга Михайловна глядела на его красивый профиль. Ей казалось почему-то, что если бы муж вдруг повернулся к ней лицом и сказал: Оля, мне тяжело!, то она заплакала бы или засмеялась, и ей стало бы легко. Она думала, что ноги ноют и всему ее телу неудобно оттого, что у нее напряжена душа.

Петр, о чем ты думаешь? спросила она.

Так, ни о чем... ответил муж.

У тебя в последнее время завелась от меня какие-то тайны. Это нехорошо.

Почему же нехорошо? ответил Петр Дмитрич сухо и не сразу. У каждого из нас есть своя личная жизнь, должны быть и свои тайны поэтому.

Личная жизнь, свои тайны... всё это слова! Пойми, что ты меня оскорбляешь! сказала Ольга Михайловна, поднимаясь и садясь на постели. Если у тебя тяжело на душе, то почему ты скрываешь это от меня? И почему ты находишь более удобным откровенничать с чужими женщинами, а не с женой? Я ведь слышала, как ты сегодня на пасеке изливался перед Любочкой.

Ну, и поздравляю. Очень рад, что слышала.

Это значило: оставь меня в покое, не мешай мне думать! Ольга Михайловна возмутилась. Досада, ненависть и гнев, которые накопились у нее в течение дня, вдруг точно запенились; ей хотелось сейчас же, не откладывая до завтра, высказать мужу всё, оскорбить его, отомстить... Делая над собой усилия, чтобы не кричать, она сказала:

Так знай же, что всё это гадко, гадко и гадко! Сегодня я ненавидела тебя весь день вот что ты наделал!

Петр Дмитрич тоже поднялся и сел.

Гадко, гадко, гадко! продолжала Ольга Михайловна, начиная дрожать всем телом. Меня нечего поздравлять! Поздравь ты лучше самого себя! Стыд, срам! Долгался до такой степени, что стыдишься оставаться с женой в одной комнате! Фальшивый ты человек! Я вижу тебя насквозь и понимаю каждый твой шаг!

Оля, когда ты бываешь не в духе, то, пожалуйста, предупреждай меня. Тогда я буду спать в кабинете.

Сказавши это, Петр Дмитрич взял подушку и вышел из спальни. Ольга Михайловна не предвидела этого. Несколько минут она молча, с открытым ртом и дрожа всем телом, глядела на дверь, за которою скрылся муж, и старалась понять, что значит это. Есть ли это один из тех приемов, которые употребляют в спорах фальшивые люди, когда бывают неправы, или же это оскорбление, обдуманно нанесенное ее самолюбию? Как понять? Ольге Михайловне припомнился ее двоюродный брат, офицер, веселый малый, который часто со смехом рассказывал ей, что когда ночью супружница начинает пилить его, то он обыкновенно берет подушку и, посвистывая, уходит к себе в кабинет, а жена остается в глупом и смешном положении. Этот офицер женат на богатой, капризной и глупой женщине, которую он не уважает и только терпит.

Ольга Михайловна вскочила с постели. По ее мнению, теперь ей оставалось только одно: поскорее одеться и навсегда уехать из этого дома. Дом был ее собственный, но тем хуже для Петра Дмитрича. Не рассуждая, нужно это или нет, она быстро пошла в кабинет, чтобы сообщить мужу о своем решении (Бабья логика! мелькнуло у нее в мыслях) и сказать ему на прощанье еще что-нибудь оскорбительное, едкое...

Петр Дмитрич лежал на диване и делал вид, что читает газету. Возле него на стуле горела свеча. Из-за газеты не было видно его лица.

Потрудитесь мне объяснить, что это значит? Я вас спрашиваю!

Вас... передразнил Петр Дмитрич, не показывая лица. Надоело, Ольга!

Честное слово, я утомлен, и мне теперь не до этого... Завтра будем браниться. Нет, я тебя отлично понимаю! продолжала Ольга Михайловна. Ты меня ненавидишь! Да, да! Ты меня ненавидишь за то, что я богаче тебя! Ты никогда не простишь мне этого и всегда будешь лгать мне! (Бабья логика! опять мелькнуло в ее мыслях.) Сейчас, я знаю, ты смеешься надо мной... Я даже уверена, что ты и женился на мне только затем, чтобы иметь ценз и этих подлых лошадей... О, я несчастная!

Петр Дмитрич уронил газету и приподнялся. Неожиданное оскорбление ошеломило его. Он детски-беспомощно улыбнулся, растерянно поглядел на жену и, точно защищая себя от ударов, протянул к ней руки и сказал умоляюще:

Оля!

И ожидая, что она скажет еще что-нибудь ужасное, он прижался к спинке дивана, и вся его большая фигура стала казаться такою же беспомощно-детскою, как и улыбка.

Оля, как ты могла это сказать? прошептал он.

Ольга Михайловна опомнилась. Она вдруг почувствовала свою безумную любовь к этому человеку, вспомнила, что он ее муж, Петр Дмитрич, без которого она не может прожить ни одного дня и который ее любит тоже безумно. Она зарыдала громко, не своим голосом, схватила себя за голову и побежала назад в спальню.

Она упала в постель, и мелкие, истерические рыдания, мешающие дышать, от которых сводит руки и ноги, огласили спальню. Вспомнив, что через три-четыре комнаты ночует гость, она спрятала голову под подушку, чтобы заглушить рыдания, но подушка свалилась на пол, и сама она едва не упала, когда нагнулась за ней; потянула она к лицу одеяло, но руки не слушались и судорожно рвали всё, за что она хваталась.

Ей казалось, что всё уже пропало, что неправда, которую она сказала для того, чтобы оскорбить мужа, разбила вдребезги всю ее жизнь. Муж не простит ее. Оскорбление, которое она нанесла ему, такого сорта, что его не сгладить никакими ласками, ни клятвами... Как она убедит мужа, что сама не верила тому, что говорила?

Кончено, кончено! кричала она, не замечая, что подушка опять свалилась на пол. Ради бога, ради бога!

Должно быть, разбуженные ее криками, уже проснулись гость и прислуга; завтра весь уезд будет знать, что с нею была истерика, и все обвинят в этом Петра Дмитрича. Она делала усилия, чтобы сдержаться, но рыдания с каждой минутой становились всё громче и громче.

Ради бога! кричала она не своим голосом и не понимала, для чего кричит это. Ради бога!

Ей показалось, что под нею провалилась кровать и ноги завязли в одеяле. Вошел в спальню Петр Дмитрич в халате и со свечой в руках.

Оля, полно! сказал он.

Она поднялась и, стоя в постели на коленях, жмурясь от свечи, выговорила сквозь рыдания:

Пойми... пойми...

Ей хотелось сказать, что ее замучили гости, его ложь, ее ложь, что у нее накопело, но она могла только выговорить:

Пойми... пойми!

На выпей! сказал он, подавая ей воды.

Она послушно взяла стакан и стала пить, но вода расплескалась и полилась ей на руки, грудь, колени... Должно быть, я теперь ужасно безобразна! подумала она. Петр Дмитрич, молча, уложил ее в постель и укрыл одеялом, потом взял свечу и вышел.

Ради бога! крикнула опять Ольга Михайловна. Петр, пойми, пойми!

Вдруг что-то сдавило ее внизу живота и спины с такой силой, что плач ее оборвался и она от боли укусила подушку. Но боль тотчас же отпустила ее, и она опять зарыдала.

Вошла горничная и, поправляя на ней одеяло, спросила встревоженно:

Барыня, голубушка, что с вами?

Убирайтесь отсюда! строго сказал Петр Дмитрич, подходя к постели.

Пойми, пойми... начала Ольга Михайловна.

Оля, прошу тебя, успокойся! сказал он. Я не хотел тебя обидеть. Я не ушел бы из спальни, если бы знал, что это на тебя так подействует. Мне просто было тяжело. Говорю тебе как честный человек...

Пойми... Ты лгал, я лгала...

Я понимаю... Ну, ну, будет! Я понимаю... говорил Петр Дмитрич нежно, садясь на ее постель. То сказала ты сгоряча, понятно... Клянусь богом, я люблю тебя больше всего на свете и, когда женился на тебе, ни разу не вспомнил, что ты богата. Я бесконечно любил и только... Уверяю тебя. Никогда я не нуждался и не знал цены деньгам, а потому не умею чувствовать разницу между твоим состоянием и моим. Мне всегда казалось, что мы одинаково богаты. А что я в мелочах фальшивил, то это... конечно, правда. Жизнь у меня до сих пор была устроена так несерьезно, что как-то нельзя было обойтись без мелкой лжи. Мне теперь самому тяжело. Оставим этот разговор, бога ради!..

Ольга Михайловна опять почувствовала сильную боль и схватила мужа за рукав.

Больно, больно, больно... сказала она быстро. Ах, больно!

Чёрт бы взял этих гостей! пробормотал Петр Дмитрич, поднимаясь. Ты не должна была ездить сегодня на остров! крикнул он. И как это я, дурак, не остановил тебя? Господи, боже мой!

Он досадливо почесал себе голову, махнул рукой и вышел из спальни.

Потом он несколько раз входил, садился к ней на кровать и говорил много, то очень нежно, то сердито, но она плохо слышала его. Рыдания чередовались у нее с страшною болью, и каждая новая боль была сильнее и продолжительнее. Сначала во время боли она задерживала дыхание и кусала подушку, но потом стала кричать неприличным, раздирающим голосом. Раз, увидев около себя мужа, она вспомнила, что оскорбила его, и, не рассуждая, бред ли это или настоящий Петр Дмитрич, схватила обеими руками его руку и стала целовать ее.

Ты лгал, я лгала... начала она оправдываться. Пойми, пойми... Меня замучили, вывели из терпенья...

Оля, мы тут не одни! сказал Петр Дмитрич.

Ольга Михайловна приподняла голову и увидела Варвару, которая стояла на коленях около комода и выдвигала нижний ящик. Верхние ящики были уже выдвинуты. Кончив с комодом, Варвара поднялась и, красная от напряжения, с холодным, торжественным лицом принялась отпирать шкатулку.

Марья, не отопру! сказала она шёпотом. Отопри, что ли.

Горничная Марья ковыряла ножницами в подсвечнике, чтобы вставить новую свечку; она подошла к Варваре и помогла ей отпереть шкатулку.

Чтоб ничего запертого не было... шептала Варвара. Отопри, мать моя, и этот коробок. Барин, обратилась она к Петру Дмитричу, вы бы послали к отцу Михаилу, чтоб царские ворота отпер! Надо!

Делайте, что хотите, сказал Петр Дмитрич, прерывисто дыша, только ради бога скорей доктора или акушерку! Поехал Василий? Пошли еще кого-нибудь. Пошли своего мужа!

Я рожу, сообразила Ольга Михайловна. Варвара, простонала она, но ведь он родится не живой!

Ничего, ничего, барыня... зашептала Варвара. Бог даст, живой бундить (так она выговаривала слово будет)! Бундить живой.

Когда Ольга Михайловна в другой раз очнулась от боли, то уж не рыдала и не металась, а только стонала. От стонов она не могла удержаться даже в те промежутки, когда не было боли. Свечи еще горели, но уже сквозь шторы пробивался утренний свет. Было, вероятно, около пяти часов утра. В спальне за круглым столиком сидела какая-то незнакомая женщина в белом фартуке и с очень скромною физиономией. По выражению ее фигуры видно было, что она давно уже сидит. Ольга Михайловна догадалась, что это акушерка.

Скоро кончится? спросила она и в своем голосе услышала какую-то особую, незнакомую ноту, какой раньше у нее никогда не было. Должно быть, я умираю от родов, подумала она.

В спальню осторожно вошел Петр Дмитрич, одетый, как днем, и стал у окна, спиной к жене. Он приподнял штору и поглядел в окно.

Какой дождь! сказал он.

А который час? спросила Ольга Михайловна, чтобы еще раз услышать в своем голосе незнакомую нотку.

Без четверти шесть, отвечала акушерка.

А что, если я в самом деле умираю? подумала Ольга Михайловна, глядя на голову мужа и на оконные стекла, по которым стучал дождь. Как он без меня будет жить? С кем он будет чай пить, обедать, разговаривать по вечерам, спать?

И он показался ей маленьким, осиротевшим; ей стало жаль его и захотелось сказать ему что-нибудь приятное, ласковое, утешительное. Она вспомнила,

как он весною собирался купить себе гончих и как она, находя охоту забавой жестокой и опасной, помешала ему сделать это.

Петр, купи себе гончих! простонала она.

Он опустил штору и подошел к постели, хотел что-то сказать, но в это время Ольга Михайловна почувствовала боль и вскрикнула неприличным, раздирающим голосом.

От боли, частых криков и стонов она отупела. Она слышала, видела, иногда говорила, но плохо понимала и сознавала только, что ей больно или сейчас будет больно. Ей казалось, что именины были уже давно-давно, не вчера, а как будто год назад, и что ее новая болевая жизнь продолжается дольше, чем ее детство, ученье в институте, курсы, замужество, и будет продолжаться еще долго-долго, без конца. Она видела, как акушерке принесли чай, как позвали ее в полдень завтракать, а потом обедать; видела, как Петр Дмитрич привык входить, стоять подолгу у окна и выходить, как привыкли входить какие-то чужие мужчины, горничная, Варвара... Варвара говорила только бундить, бундить и сердилась, когда кто-нибудь задвигал ящики в комод. Ольга Михайловна видела, как в комнате и в окнах менялся свет: то он был сумеречный, то мутный, как туман, то ясный, дневной, какой был вчера за обедом, то опять сумеречный... И каждая из этих перемен продолжалась так же долго, как детство, ученье в институте, курсы...

Вечером два доктора один костлявый, лысый, с широкою рыжею бородою, другой с еврейским лицом, черномазый и в дешевых очках делали Ольге Михайловне какую-то операцию. К тому, что чужие мужчины касались ее тела, она относилась совершенно равнодушно. У нее уже не было ни стыда, ни воли, и каждый мог делать с нею, что хотел. Если бы в это время кто-нибудь бросился на нее с ножом или оскорбил Петра Дмитрича, или отнял бы у нее права на маленького человечка, то она не сказала бы ни одного слова.

Во время операции ей дали хлороформу. Когда она потом проснулась, боли всё еще продолжались и были невыносимы. Была ночь. И Ольга Михайловна вспомнила, что точно такая же ночь с тишиною, с лампадкой, с акушеркой, неподвижно сидящей у постели, с выдвинутыми ящиками комода, с Петром Дмитричем, стоящим у окна, была уже, но когда-то очень, очень давно... Тысячу приветствий (франц.).

Я не умерла... подумала Ольга Михайловна, когда опять стала понимать окружающее и когда более уже не было.

В два настежь открытые окна спальни глядел ясный летний день; в саду за окнами, не умолкая ни на одну секунду, кричали воробьи и сороки.

Ящики в комод были уже заперты, постель мужа прибрана. Не было в спальне ни акушерки, ни Варвары, ни горничной; один только Петр Дмитрич

по-прежнему стоял неподвижно у окна и глядел в сад. Не слышно было детского плача, никто не поздравлял и не радовался, очевидно, маленький человечек родился не живой.

Петр! окликнула Ольга Михайловна мужа.

Петр Дмитрич оглянулся. Должно быть, с того времени, как уехал последний гость и Ольга Михайловна оскорбила своего мужа, прошло очень много времени, так как Петр Дмитрич заметно осунулся и похудел.

Что тебе? спросил он, подойдя к постели.

Он глядел в сторону, шевелил губами и улыбался детски-беспомощно.

Всё уже кончилось? спросила Ольга Михайловна.

Петр Дмитрич хотел что-то ответить, но губы его задрожали, и рот покривился старчески, как у беззубого дяди Николая Николаича.

Оля! сказал он, ломая руки, и из глаз его вдруг брызнули крупные слезы. Оля! Не нужно мне ни твоего ценза, ни съездов (он всхлипнул)... ни особых мнений, ни этих гостей, ни твоего приданого... ничего мне не нужно! Зачем мы не берегли нашего ребенка? Ах, да что говорить!

Он махнул рукой и вышел из спальни.

А для Ольги Михайловны было уже решительно всё равно. В голове у нее стоял туман от хлороформа, на душе было пусто... То тупое равнодушие к жизни, какое было у нее, когда два доктора делали ей операцию, всё еще не покидало ее.